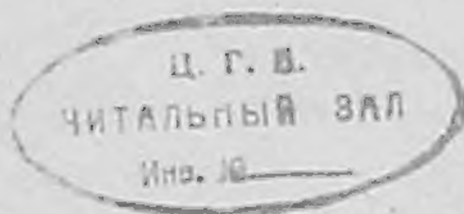
К. М. САЛТЫКОВ

ИНТИМНЫЙ ЩЕДРИН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. М. САЛТЫКОВ

ИНТИМНЫЙ ЩЕДРИН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

„НИЖПОЛИГРАФ"

Гублит № 150 1923 Тираж—10.000

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемая книга воспоминаний о Щедрине написана сыном покойного. Автор ее хотел изобразить портрет великого сатирика не как общественного деятеля, а как человека, как члена семьи, в его «интимной» жизни.

Нужно откровенно сказать, что книга автору не удалась. Она мало прибавляет к тому портрету великого сатирика, который мы имели раньше. Приходится пожалеть, что автор не сумел подметить, запомнить и зарисовать ряд, может быть, мелких, но характерных эпизодов, которые он мог наблюдать, живя все время со своим великим отцом, и которые могли бы дать многое для биографа Щедрина. Еще более приходится пожалеть о том, что автор заметил, запомнил и записал главным образом такие факты, которые рисуют отрицательные черты этого великого писателя. Щедрин, конечно, заслуживал иметь более внимательного и вдумчивого наблюдателя. Но из песни слова не выкинешь. То, что подметил в характере своего отца автор книжки, у Щедрина действительно было. Было у него, конечно, много и другого, такого, что сделало его великим писа-

телем. Последнего автор или не подметил, или не сумел изобразить. Но Щедрин такой великий человек, что его славе и его памяти не может повредить такое однобокое изображение. А для его биографии и характеристики воспоминания автора кое-что дают. Это соображение и побудило Государственное Издательство после некоторого колебания принять книжку к изданию.

Щедрин был одним из крупнейших представителей русской радикально-народнической интеллигенции 70-х и 80-х годов. Поэтому многое, что рассказывает автор про своего отца, характерно не только для этого последнего, но и для всего того общественного слоя, к которому он принадлежал. В этом отношении интересны даже мелочи. Например, дружба радикала Щедрина с князем Абашидзе, которому царь Александр II-й *разрешил в знак особой милости* носить грузинский национальный костюм. Как эта мелочь характерна и для царя и для эпохи и, наконец, для Щедрина, как вождя радикальной интеллигенции. Или, как, например, характерен и для Щедрина, для его эпохи и для либеральной интеллигенции рассказ о страхах Щедрина при переезде границы при возвращении в Россию, рассказ о сотрудничестве Щедрина с Лорис-Меликовым над выработкой проекта конституции. Автор воспоминаний наивно сообщает все эти сведения, которые показывают, какая гниль таилась всегда в русском либерализме, даже в его лучших представителях.

Все эти черточки воспоминаний развенчивают, конечно, Щедрина, как политического деятеля. Воспоминания показывают, как глубоко обыватель сидел в душе русского либерала. Но они не вредят репутации Щедрина, как великого художника. А ведь именно в этом и состоит вся сила и все величие его.

Нужно заметить также, что автор не всегда точен в своих рассказах. Кое-что он видел и слышал, но понял неверно, кое-что позже забыл или перепутал. Но разобраться в этих источниках уже дело критики. Государственное Издательство выпускает воспоминания, как не лишенный интереса и значения материал для биографии Щедрина, сохраняя неизменным весь своеобразный стиль автора, как одно из данных для того—как выражаются математики —личного уравнения автора, которое необходимо должен будет составить тот, кто захочет пользоваться книжкой.

Н. Мещеряков.

I.

Многие лица, находящие, что литературные произведения моего покойного отца и в настоящее время имеют характер современности, журят меня за то, что я не знакомлю читающую публику с , так сказать, интимной биографией автора «Пошехонской старины» и укоризненно ставят мне в пример Л. Ф. Достоевскую, которая, как говорят, написала, где-то в Швейцарии находясь, целый трактат о своем гениальном родителе, да еще к тому же чуть ли не на немецком языке...

И вот, хотя в отношении папы не предвидится в ближайшем будущем никаких коммеморативных дат, я берусь за перо и постараюсь дать, по возможности, полную картину интимной жизни того русского великого человека, который почти весь свой век посвятил литературе, честно неся звание литератора, которое он завещал мне ставить выше всего. И я, сознаюсь, ставлю звание литератора чрезвычайно высоко, вследствие чего

весьма часто скорблю о том, что в настоящее время, к сожалению, не все пишущие достойны носить это звание, хотя и присваивают его себе.

Начиная свои воспоминания, я должен оговорить, что данных, относящихся к литераторам-современникам отца, я много, к сожалению, сообщить не могу, по той простой причине, что отца почти никто из собратьев по перу не посещал. У нас бывали, да и то редко, Н. А. Некрасов, В. М. Гаршин, Гайдебуров, Данилевский. Чаще других бывала милейшая маленькая старушка, всегда одетая в старомодное платье с длинным шлейфом, Хвощинская-Зайончковская, более известная читающей публике под псевдонимом «В. Крестовский». Эта добрейшая старушка, можно сказать, боготворила отца и, вместе с тем, очень баловала нас, детей, принося нам сласти и рассказывая преинтересные сказки, которых мы наслушаться достаточно не могли. Зайончковская приходила обыкновенно вечером, когда отец с матерью уезжали куда-нибудь из дома, укладывала меня с сестрой спать и на сон грядущий повествовала нам о том, как у некоего принца засахарилось сердце потому, что он много ел сахара, из чего следовал вывод, что детям не следует слишком увлекаться сластями, и о многих других, для нас интересных сказочных личностях.

Добрая старушка, ныне в качестве писательницы, имевшей свой час славы, совершенно забытая, пережила ненамного отца. Она последние годы своей

жизни провела на побережье Финского залива, в Петергофе, причем умерла в совершенной нищете. Болезнь ног не позволяла ей ходить, и ей не на что было приобрести колясочку, на которой ее могли бы перевозить с места на место. Узнав про это, покойная мать моя поручила мне повезти ей ту колясочку, на которой прежде возили моего отца. Я исполнил поручение и был свидетелем радости больной, когда она узнала, кто раньше пользовался колясочкой.

Я рад случаю, представившемуся мне помянуть добрым словом хорошую женщину, талантливую писательницу, искреннего друга моего отца.

Н. А. Некрасова я помню очень мало, т. к. он умер, когда я был совсем мал. Знаю только и то со слов покойной матери, что мой отец, восторгаясь талантом «печальника земли русской», не очень-то его жаловал. Причиной этому было пристрастие Н. А. к игре в карты, при чем у поэта игра велась азартная, к нему шел «на огонек» кто хотел и, понятно, что среди гостей встречались люди с довольно сомнительной репутацией, вследствие чего на квартире Некрасова нередко происходили очень прискорбные сцены из-за допускавшихся некоторыми из игроков нечестных приемов. Иногда дело доходило до крупных скандалов, при чем в ход пускались тяжелые шандалы (подсвечники), ставившиеся на ломберные столы. Конечно, сам Н. А. в этом был совершенно не при чем, но, все же, ему ставилась в вину та неразборчивость, с которой он принимал к себе всякого встречного-

поперечного, незнакомого ему человека, никем, порой, ему даже не представленного.

Некрасов, всегда одетый с иголочки, в узких клетчатых брюках, коротеньком пиджачке, с галстухом, небрежно завязанным а-ля «бабочка», приезжал к нам довольно часто, говорил комплименты маме, трепал меня и сестру рукой в замшевой перчатке по голове, а затем, особенной, качающейся походкой, отправлялся в папин кабинет, где усаживался, заложив ногу на ногу, в позу, которую он, вероятно, считал модной и грациозной, вынимал из бокового кармана пиджачка серебряный порт-сигар, из которого извлекал сигару и, зажигая ее, пускался в разговор с отцом. Нас просили тогда вон из кабинета.

Когда Некрасов перед смертью сильно заболел, то мы его уже не видели.

Смерть его очень огорчила папу, который говорил, что Россия теряет большого поэта и патриота, но, что смерти следовало ожидать ввиду того образа жизни, который вел Н. А. Собственно говоря, нас, детей, смерть эта не очень тронула, потому что покойный держал себя с нами слишком покровительственно, а нам это не нравилось.

Только потом, когда нам стали известны стихотворения Н. А., и когда мы поняли их смысл—-мы поняли, какого гениального истинно-русского человека потеряла с его смертью Россия.

Несчастная страсть Некрасова к карточной игре дала повод моему отцу и грим его знакомым помя-

нуть поэта во время его похорон довольно оригинальным образом.

Некрасов жил в Петербурге в доме Краевского (издателя «Голоса»), на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, а наша квартира находилась оттуда в близком расстоянии—на Литейном же, в доме Красовской, впоследствии вышедшей замуж за известного в столице окулиста Скребицкого. Похоронен был Н. А. на кладбище Новодевичьего монастыря. Следовательно, похоронная процессия должна была проследовать мимо окон нашей квартиры.

И вот, мы всей семьей, за исключением отца, отправившегося отдать последний долг своему бывшему редактору, собрались у окон, выходивших на улицу. Скоро перед нашими глазами начала развертываться громадная процессия людей всех слоев общества, искренно оплакивавших того, который, несмотря на свои неуравновешенные нравственные качества, никому из широкой публики неизвестные, весь свой поэтический великий талант отдал на служение массе униженных и обиженных, требуя для них тех же прав, которыми обладала лишь небольшая кучка привилегированных лиц. Похороны были, действительно, величественны. Гроб несли на руках, толпа заполнила всю ширину проспекта, сотни голосов пели покойному «вечную память».

За катафалком ехал ряд карет. Из одной из них вдруг высунулся папа и, показав нам игральную карту, скрылся в окошечке экипажа.

Когда отец приехал домой, то мама спросила его, что значил этот его жест, на что он ответил, что, едучи на кладбище, он и его компаньоны по карете засели за партию в винт, будучи уверенными, что душа Некрасова должна была радоваться, видя, что его поминают тем же образом, каким он любил проводить бóльшую часть своей жизни.

Самыми близкими людьми к отцу были: лейб-медик проф. С. П. Боткин, присяжн. пов. А. М. Унковский, бывший в свое время Тверским губернским предводителем дворянства, уволенный от занимаемой им должности и сосланный при Николае I за то, что он подарил часть принадлежавшей ему земли при с-це Дмитрюкове крестьянам, и В. И. Лихачев, бывший петербургским городским головой, покинувшим этот пост после дела о так называемой «пухертовской муке», затем председателем столичного мирового с'езда, наконец, сенатором. В хороших отношениях с отцом был также петербургский нотариус В. И. Иванов, честный и дельный человек, с совершенно лысой головой, женатый на женщине значительно моложе его, что, однако, не мешало ей быть верной и любящей супругой. Частенько заходил также к нам цензор Ратынский, человек далеко некрасивый и немолодой. Приходил он по вечерам и выпивал целый графин красного вина. Его визиты имели характер весьма деловой, т. к. он информировал моего отца о том, что происходит в цензурном комитете. Эти сведения для моего отца, одного из редак-

торов «Отечественных Записок», были весьма ценны, так как, зная о том, какие влияния преобладают в комитете, он имел возможность ограждать свой любимый журнал от произвола цензуры, которая, как известно, в восьмидесятых годах прошлого столетия, пребольно кусалась.

К названным лицам надлежит прибавить еще редактора «Вестника Европы», М. М. Стасюлевича, или, как его фамильярно звали по почину Лихачева, «Стасюляки», и мы получим тот небольшой кружок, который был более близок к моему отцу.

А. М. Унковский был, как всем известно, человек до щепетильности честный. Про него говорили, что он, в качестве адвоката, не взялся защищать ни одного «грязного» дела. Вследствие этого он не богател подобно своим коллегам по сословию и жил чрезвычайно скромно, содержа семью из шести душ. Супруга его, женщина простая и добрая, прекрасная хозяйка, помогала мужу, как только могла, и жили они душа в душу. Сам А. М. смотрел на жизнь с философской точки зрения, и несмотря на то, что зачастую перебиваться ему было нелегко, был обыкновенно в хорошем настроении духа, любил повинтить по маленькой, рассказывать анекдоты, которым сам первый смеялся. Называл он сам себя неунывающим россиянином и, главным образом, довольствовался жалованьем, получаемым им из—насколько помню—двух столичных учреждений, в коих он состоял юрисконсультом.

Что касается В. И. Лихачева, то этот последний был, не в пример Унковскому, человеком с большими наклонностями к карьеризму. Довольно крупный петербургский домовладелец с Фурштадтской улицы, видный из себя мужчина, он старательно вылезал в люди, чего, как видно из изложенного выше, и добился. Злые языки утверждали, что многого достиг он через женщин, которые пленялись его мужественной красотой. Не отрицаю, что В. И. имел большой успех у женщин, но вместе с тем, полагаю, что известного положения он достиг своим недюжинным умом, умением когда нужно о себе напомнить. Кроме того, он был прекрасным оратором и не только на русском, но и на французском языке. Его весьма отличил, между прочим, приезд в Петербург французской эскадры. В. И. в то время был «лорд-мэром» и в этой должности он встречал эскадру, причем произнес несколько очень дельных, остроумных речей в пользу «альянса» Франции с Россией. Эти его речи и обратили на него внимание со стороны так называемых «сфер». Характера В. И. был веселого, нрава расточительного, и дом его на Фурштадтской был вечно в долгу, как в шелку. Жена его, Е. И., известная тем, что она была поборницей женского образования, одной из основательниц Петербургских Бестужевских высших женских курсов и автором многих брошюр, трактовавших о женском образовании, всецело преданная своему великому делу, мало вмешивалась в дела мужа, и дети ее, кажется были совершенно индиффе-

рентны как его амурные похождения, так и преуспевания по службе выборной и государственной. Между прочим, В. И. много помог моему отцу в сочинении этим последним сказок с животными в качестве действующих лиц, давая ему сочинения Брэма, с которыми отец мой основательно познакомился, чтобы как можно вернее выявить в своем произведении индивидуальные качества того или иного зверя. Впрочем, папа, в конце концов, приобрел все произведения известного зоолога, не желая вечными просьбами надоедать В. И.

Надо сказать, что по первоначалу Унковский и Лихачев были, несмотря на разность характеров, большими друзьями и с удовольствием встречались у моего отца, который их одинаково любил и с которыми, в то время, конечно, когда болезнь еще не сделала его совершенно нелюдимым, ему всегда было приятно проводить время в дружеской беседе, узнавая от А. М. судейские новости, а от В. И. вообще столичные новости. Но в один непрекрасный день между А. М. и В. И. пробежала черная кошка. О причинах разлада я упоминать не буду, но должен констатировать тот факт, что разлад этот был нешуточный. Из друзей оба названных лица вдруг превратились в врагов. Унковский ничего не желал слушать о Лихачеве, а Лихачев открещивался от Унковского. Те дружеские беседы, о которых я упоминал выше, прекратились сами собой, к великому огорчению моих отца и матери, которая тоже очень любила видеть

около себя супруг поссорившихся прежних друзей, также принявших сторону своих мужей и, как говорится, раззнакомившихся. Оба поссорившиеся стали бывать у нас в одиночку, жаловаться отцу друг на друга, чем ему больше докучали, чем доставляли удовольствия своими визитами. Подобное положение вещей продолжалось довольно продолжительное время, года, насколько помню, с два. Мой отец поставил себе целью их примирить, для чего, воспользовавшись их пребыванием за границей, выписал их к себе в Кларан (Clarens) в Швейцарии, где временно проживал в гостинице Roy. Унковский и Лихачев приехали туда, не предполагая встретиться, были неприятно поражены подготовленным им сюрпризом, но, чтобы не доставить огорчения отцу, из'явили желание помириться. Из этого получился, однако, один лишь худой мир. Помирились же они окончательно несколько лет спустя—у одра смерти папы, где они неизбежно должны были столкнуться.

О С. П. Боткине скажу, что этот знаменитый врач своими непрестанными заботами много содействовал продлению жизни моего отца, и, таким образом, способствовал тому, что российская литературная сокровищница обогатилась таким прекрасным чисто беллетристическим произведением, каким является «Пошехонская Старина», автобиография моего отца, произведением, в котором, как в зеркале, отражается жизнь прошлого, отжившего века, бесправия народных масс. В этом Боткину много способство-

вали его талантливые ассистенты, доктора Н. И. Соколов и Васильев, имя и отчество которого я, к сожалению, забыл. Этот Васильев, между прочим, был у нас на квартире в то время, когда моего отца хватил удар, роковой для его жизни. Васильев застал отца по обыкновению в его кабинете, откуда он за последнее время никуда не выходил, за письменной работой, началом задуманного, несмотря на невыносимые физические страдания, труда: «Забытые слова». Осмотрев больного, врач, распростившись с ним, вышел из кабинета, но едва прошел он часть небольшой гостиной по направлению к передней, как из кабинета раздался зов: —Доктор... доктор... Васильев вернулся в только что им покинутую комнату, и уже застал моего отца в беспомощном состоянии: у него отнялась вся правая часть тела и онемел язык. Смерть последовала через 24 часа. Но о ней я расскажу ниже.

Без С. П. и его ассистентов папа, можно сказать, за последнее время не мог прожить дня. Чтобы быть ближе к Боткину, он даже на одно лето нанял дачу в Финляндии, недалеко от ст. «Мустамяки» Финляндской жел. дор., в имении начальницы известной в то время петербургской женской гимназии, в которой училась моя сестра, княгини Оболенской, находившемся вблизи имения врача. Эту дачу, а также жизнь в ней, мой отец описал в «Мелочах Жизни». Каждый, прочитавший это произведение, поймет, какие лишения он претерпел, в каких неблагоприятных

условиях он прожил то лето, единственно для того, чтобы быть поблизости от того лица, которому он больше всего, как врачу, доверял. Правда, сама владелица имения и ее зять, художник Волков, с которым я почти целыми днями ловил рыбу в громадном озере, находившемся около самой нашей дачи, старались как можно больше скрасить жизнь знаменитому своему нанимателю, но все неудобства, испытанные там отцом, отнюдь не принесли пользы его здоровью. Да, и несмотря на то, что у нас были свои лошади и хорошая, удобная городская коляска, с Боткиным приходилось мало видеться, т. к. он почти все лето провел в Петербурге, где у него было немало пациентов. Между прочим, меня лично Боткин спас от смерти. Дело в том, что, обучаясь в петербургской гимназии Я. Г. Гуревича, откуда меня отец затем перевел в Александровский (Пушкинский) лицей, где он задолго до того сам окончил курс наук, я в один непрекрасный для меня день заболел. Позванный наш обычный врач по детским болезням, А. А. Руссов, констатировал у меня, кажется, воспаление легких. Между тем я заболел, на самом деле, скарлатиной. Отец, не подозревая этого обстоятельства, все же очень волновался, забросил работу и целые дни проводил около меня. В то время Боткин был за границей, откуда возвратился дня два после того, как я заболел. Проезжая мимо нас, он, не доезжая к себе, вздумал навестить отца, от которого и узнал, что я болен. Он-то и диагности-

ровал у меня скарлатину. Можно себе представить ужас моего отца, который немедленно отправил мою сестру в семью нашего соседа кн. Абашидзе. Во все время моей болезни, которую лечил сам С. П., папа не мог работать, страшно волновался, и только тогда вернулся к своим обычным занятиям, когда я, наконец, был об'явлен вне опасности.

Отвлекаюсь несколько в сторону, т. к. считаю нужным сказать два слова о кн. Абашидзе. Грузин родом - этот красавец мужчина высокого статного роста, с орлиным носом, вьющимися, уже с проседью, волосами, был человеком богатым. Царь Александр II. разрешил ему, в знак особой милости, носить грузинский национальный костюм и оружие. В Летнем саду, где обыкновенно Абашидзе прогуливался днем, все бывшие там с любопытством смотрели на высокого красавца в невиданной в сумрачном Петербурге одежде из шелка и бархата с развевающимися рукавами. У Абашидзе была дочь Нина, тоже красавица, с которой, несмотря на то, что она была старше нас, мы, дети, были очень дружны. Папа не без удовольствия вел разговоры со старым князем и, будучи откровенным до конца, воспользовался его «манерой говорить», описывая своих восточных «человэков». Впрочем, Абашидзе был добрейшим человеком и ему доставляло, между прочим, громадное удовольствие присутствовать на танцклассе, который он организовал у себя на квартире для своей Нины, нас и живших под нами детей гр. Пирот, заведывавшего в то

время департаментом уделов. Посещал танцкласс, бодрый еще в то время мой отец и требовал от меня и сестры отчетливого исполнения всех движений, которым нас обучала наша «балетмейстерша» m-me Цель, весьма ретивая в своем деле особа, выделывавшая, несмотря на очень почтенный возраст, разные «па» с легкостью и ловкостью молодой женщины.

Возвращаясь к Боткину, я должен сказать, что у него устраивались музыкальные вечера, на которых участвовали такие музыканты, как пианист А. Г. Рубинштейн, виолончелисты Вержбилович и Давыдов, скрипач Ауэр. На этих вечерах часто присутствовали мои отец и мать.

С тем же Боткиным у нас приключился небольшой инцидент. Моего отца нельзя было назвать верующим. Он ждал исцеления своих недугов больше от врачей, чем от бога. Незадолго до смерти, месяца за два,—когда ему стало очень нехорошо, моей матери вдруг захотелось, чтобы над папой прочел свою молитву прославленный в то время о. Иоанн Кронштадтский. Долго она не решалась сделать моему отцу предложение пригласить к нам о. Иоанна. Наконец, она ему об этом сказала, и, к ее удивлению, папа только пожал плечами, но от встречи со священником не отказался.

И вот мать моя с необычайными трудностями добилась того, что в известный день прославленный

иерей появился в нашей квартире. Однако, принимая его, мой отец строго-на-строго наказал, чтобы об этом не было известно Боткину, из боязни, что профессор обидится, что его заменяют, как врача, хотя бы временно, священнослужителем. Был отдан приказ швейцару, чтобы он Боткина во время пребывания о. Иоанна не принимал под тем предлогом, что отец отдыхает. В назначенные женщиной, всегда возившей священника и бравшей за это известную мзду, час и день, у нас появился прославленный как исцелитель о. Иоанн, одетый в атласную рясу. Лицо его, как сейчас помню, было какое-то грустное, имел он усталый вид, что объяснялось тем, что во время приездов, его в Петербурге возили из дома в дом, собирая, как говорят — и чему я охотно верю, — без его ведома, обильную дань с близких больных, которым, по вере этих последних, он должен был принести, если не полное, то во веском случае, частичное облегчение их недуга. Глаза о. Иоанна были замечательны, они как бы пронизывали насквозь людей, и возможно, что он был гипнотизером, благодаря чему, действительно, он мог внушать людям то, что желал. Благословив отца, о. Иоанн поставил его пред собой и, будучи отделен от него столиком, на котором лежали икона, крест и евангелие, прочел свою знаменитую молитву, начав ее шепотом, усиливая постепенно голос и окончив ее в повелительном тоне, как бы требуя от бога исполнения этой молитвы. Произнесена она была так, что когда затем

спросили отца, понял ли он ее — он отвечал отрицательно, зато похвалил рясу священника.

После прочтения молитвы, о. Иоанна пригласили выпить чаю, и вот во время этого чаепития и произошел инцидент с проф. Боткиным.

Как я уже писал выше, швейцару был отдан приказ не принимать С. П. Отдавая этот приказ, моя мать, однако, не учла одного обстоятельства, а именно того, что карета, в которой возили о. Иоанна, где бы она ни остановилась, была немедленно окружаема толпой народа, часть коей жаждала получить батюшкино благословение, часть же останавливалась из простого чувства любопытства. Так случилось и перед домом, где мы жили. Проезжавший мимо Боткин был удивлен сборищем, и опасаясь, не случилось ли чего с отцом, велел своему кучеру остановиться у под'езда, где и узнал от собравшихся причину людского скопления, при чем ему даже сообщили, у кого именно находится «кронштадтский батюшка», как простонародие звало обыкновенно Иоанна. С. П. вошел в швейцарскую и, несмотря на протесты привратника, докладывавшего, что ему было велено говорить, поднялся в третий этаж, где находилась наша квартира, входная дверь которой была почему-то не заперта. Профессор, снявший, по обыкновению, шубу внизу, в швейцарской, беспрепятственно прошел через переднюю и очутился в столовой, где пили чай. Можно себе представить, какое замешательство произошло среди нас при виде высокой плотной фигуры С. П.,

вдруг неожиданно появившейся в комнате. Но Боткин, добродушно улыбаясь, положил конец замешательству, пожурив отца за то, что этот последний захотел скрыть от него о. Иоанна, с которым он был давно знаком.

— Батюшка и я коллеги,—пошутил Боткин, только я врачую тело, а он душу...

Никаких недоразумений, которых боялся отец, инцидент не возбудил, и Боткин продолжал лечить отца с той же энергией, как и прежде.

Никаких улучшений в состоянии папы визит о. Иоанна не принес. Он скончался через два-три месяца после него.

Боткин недолго пережил своего пациента; он скончался от каменной болезни в декабре того же 1889 года.

М. М. Стасюлевич, известный издатель «Вестника Европы» и книгоиздатель, бывал у нас довольно часто. Он много помогал отцу советами, когда этот последний задумал выпустить в свет собственное издание своих сочинений, при чем совершенно бескорыстно взял на себя все труды по этому изданию. Назначенный отцом одним из душеприказчиков, М. М., с согласия моей матерi, передал все оставшиеся после отца ненапечатанные рукописи в академию наук.

В. И. Иванов, петербургский нотариус, дельный, честный и веселого характера человек, был одним из постоянных папиных партнеров по игре в винт. Отец

мой играл, по свидетельству его партнеров, в карты прескверно, но мнил о себе совершенно обратное. Играл он нервно, волнуясь, и приписывал проигрыш робера своим партнерам, хотя в этих проигрышах был первым виновником. Он терпеть не мог, чтобы ему доказывали, что робер проигран именно по его вине. Иванов же, с своей стороны, всегда отшучивался от упреков отца, что бесило этого последнего. И вот, как-то раз, рассердившись не на шутку на какое-то возражение В. И., человека совершенно лысого, отец в сердцах ему заявил, что «в следующий раз он запишет весь ремиз не на сукне, а на его, Иванова, лысине». Понятно, что это заявление вызвало гомерический хохот играющих и самого Иванова, к которому примкнул и мой отец. Инцидент был, таким образом, исчерпан.

Супруга Боткина (вторая,—первую я не знавал), была, насколько помню, дама не особенно приятная, но, видимо, хорошая хозяйка. Детей мужа от первой жены она не долюбливала. Да они в ней и не нуждались. Сергей Сергеевич был достойным преемником отца, как врач и профессор. Евгений был тоже хорошим врачем. Петр был дипломатом, а Александр, как я то узнал несколько лет тому назад от сына С. П. от второго брака, Виктора, бывшего в то время командиром Приморского драгунского полка, в начале февральской революции уехавшего на Дальний Восток, – занялся сельским хозяйством в имении своего отца в Финляндии.

Боткина очень, между прочим, пристрастилась к фотографии и снимала все, что ей попадалось на глаза. Она весьма желала снять фотографию с отца, что ей в конце концов и удалось сделать. Отец изображен за письменным столом, уставленным стклянками от лекарств, в халате, с пледом на плечах. Снимок был, надо отдать справедливость Е. И., очень похож на натуру, и по нему можно судить о последних месяцах жития отца.

Теперь перейду к лицам, которых, как будто, было странно встречать у Щедрина, но которые, несмотря на это, бывали у него довольно часто: бывшему с.-петербургскому градоначальнику Ф. Ф. Трепову и тогдашнему премьер-министру графу М. Т. Лорис-Меликову. Многие недоумевают, что собственно мог иметь с подобными лицами, особенно с Треповым, известным реакционером, общего мой покойный отец. А, между тем, ничего особенно странного в этих знакомствах не таилось. Понятно, что мой отец не напрашивался на них, но он, вместе с тем, не мог оттолкнуть от себя лицо влиятельное, каким являлся граф Лорис-Меликов, и которое могло быть крайне полезным любимому журналу. Не мой отец ездил к М. Т., а М. Т.—к нему. Причина, побудившая графа искать знакомства отца, была чрезвычайно интересная. Дело в том, что Лорис-Меликову было Александром II поручено составить конституцию Российской империи, ту конституцию, которую заговдя называли «куцей» и которой не суждено было

быть обнародованной. Получив это, для него весьма лестное поручение, М. Т. испытал большое затруднение при выполнении его, не будучи знакомым с бытом русского народа. Среда, его окружавшая, тоже с этим бытом была или вовсе не знакома или почти не знакома. И вот кто-то посоветовал графу обратиться к моему отцу, известному, как опытный администратор, имевший много дела с народом, в бытность советником вятского губернского Правления, о также в должности вице-губернатора. Лорис-Меликов внял совету и обратился к отцу с просьбой оказать ему содействие. Папе просьба пришлась по душе, ибо он приветствовал всякое начинание, направленное к раскрепощению от самодержавного строя русского народа, и он согласился дать графу просимые этим последним указания. Таким образом, завязались между либеральным сановником и известным писателем чисто деловые отношения, на предполагавшееся благо народа. Событие 1-го марта расстроило весь план Александра II и прекратило работу комиссии, одним из закулисных участников которой был мой отец. Наступила реакция...

К террористическим выступлениям отец вообще относился отрицательно. Относился он также отрицательно и к системам репрессий, выражавшихся в повешении людей, в заточении их в крепости, в ссылке на долгие годы в Сибирь и вообще куда бы то ни было.

Сам он был строго беспартийным человеком и напрасно Н. С. Кривенко в своей о нем брошюре полагает, что он, в конце концов, сделался бы социалистом. Он стремился быть свободным в своих суждениях и, наверное, остался бы верным себе, что бы от этого для него ни произошло. Единственной целью его литературных трудов было принести наибольшую пользу любимой, родной ему, как, быть может, никому другому, России.

Его и в правящих кругах не считали человеком политически опасным, зная его замкнутый образ жизни, его круг знакомства. У него не было, вследствие этого, производимо обысков. Рассказ о том, что будто бы, как-то раз жандармы обыскивали его квартиру, а он, следя за их работой, яко бы в полголоса пел «Боже, царя храни», является вымыслом от начала до конца.

Ему не запрещали писать, даже с интересом «почитывали», но никаких для себя полезных выводов из всего им написанного не делали.

И произошло то, что фатально должно было произойти.

С Ф. Ф. Треповым отец не то, чтобы сблизился, но был достаточно знаком, вследствие того, что бывший градоначальник жил с нами в одном доме у своей дочери, по мужу гр. Нирод. В этой семье мы, дети, часто бывали, т. к. там брали уроки гимнастики. Изредка заходил, когда еще был здоров, отец.

Там-то он и познакомился с Треповым, бывшим в то время уже дряхлым стариком. Трепов иногда поднимался к нам и рассказывал эпизоды из своей бывшей деятельности, которые затем послужили темами для отца моего. Не будь Трепова не появилось бы в свет некоторых щедринских произведений полицейского характера.

Таков был кружок лиц, в котором вращался отец. Я нашел нужным его описать, быть может, далеко не талантливо, но насколько мог правдиво, т. к. в последующих главах мне придется касаться названных здесь лиц.

II.

Как я уже писал, мой отец не дружил, да и вообще не водил знакомства с литературной братией. Знаю, что он был в переписке с А. Н. Островским, который, между прочим, как-то просил его посмотреть новую свою комедию «Таланты и поклонники», имевшую в то время большой успех на сцене петербургского Александринского театра, в исполнении М. Г. Савиной и М. М. Петипа, и сообщить ему об этой комедии свое мнение. Мой отец, в то время не посещавший театры, все же пошел со мной на одно из представлений «Талантов».

Первое действие прослушали мы спокойно, и отцу оно понравилось, но затем дело испортилось. Хотя мы сидели в одном из рядов кресел партера, ничем не

отличаясь от остальных зрителей, все же папа был узнан, и весть о том, что Щедрин в театре, облетела зрительный зал. Публика насторожилась: зрители верхних ярусов: студенты, курсистки, особенно ценившие произведения сатирика, валом повалили вниз. Коридоры переполнились лицами, желавшими видеть любимого писателя, который, надо сказать правду, терпеть не мог быть об'ектом любопытства, хотя и крайне благожелательного. Сунулись было мы в антракте в коридор, потому что отцу хотелось пойти покурить, и должны были отступить обратно к своим местам, до того назойливо разглядывали отца все эти его поклонники и поклонницы. Так, почти до самого конца спектакля, нам и не удалось сойти со своих кресел. Настроение отца было испорчено, он нервничал и ворчал. Конца спектакля мы не видали, т. к. папа, боясь найти в вестибюле театра большую толпу, покинул Александринку в середине последнего действия. Что он написал по этому поводу Островскому—мне неизвестно.

С коллегами по перу отец достаточно виделся в редакции «Отечественных Записок», где проводил большую часть времени, разрешая себе, необходимые для поправления здоровья и отдыха, кратковременные отлучки из Петербурга. Впрочем, и во время этих отлучек, он не переставал творить. Немало портили отцу кровь эти самые братья писатели. Пользуясь его добротой, они, без зазрения совести—я, конечно, намекаю не на всех сотрудников журнала,—

выпрашивали у него авансы под сочинения, большая часть которых вовсе не представлялась в редакцию. К соредакторам отца, людям более прижимистым, Г. З. Елисееву и Н. С. Кривенко, с подобными просьбами не обращались, зная, что они их не удовлетворят. Моего же отца можно было всегда разжалобить. Правда, он сначала вовсе не приветливо встречал просителя, выговаривал ему, усовещевал; если этот последний уже черезчур «зназажился» и отцу было доподлинно известно, что выдаваемые деньги в прок не идут, иногда даже ругался, но, в конце концов, махал рукой и писал ордер в кассу. Результатом этого было то, что, когда «Отечественные Записки» были закрыты, с него же взыскали все выданные в виде авансов деньги, не оправданные материалом. Это обстоятельство нельзя сказать, чтобы очень поощрило моего отца к сближению с тогдашними писателями, позволявшими себе подобного рода махинации. Интересно отметить, что в числе таких недобросовестных людей были литераторы с крупными именами, которых не назову, памятуя, что в некоторых случаях nomina sunt odiosa.

Но так как нет правил без исключений, то в данном случае исключением являлся известный в то время рассказчик сцен из народного быта, оставивший после себя сборник подобного рода сцен. И. Ф. Горбунов, который тоже причислял себя к литераторам, усердно посещал товарищеские обеды и ужины, устраивавшиеся по преимуществу в бывшем в то вре-

мя в славе ресторане или, как попросту его называли, трактире Палкина. Аппетитом И. Ф. обладал громадным, ел за двоих, вследствие чего отец называл его в шутку «голодным литератором», хотя Горбунов, артист Александринского театра, на сцене которого он обыкновенно выступал со своими рассказами, чередуясь с П. И. Вейнбергом, рассказывавшим сцены из еврейского быта в конце спектакля, был не без средств. В пьесах Горбунов выступал редко, да и то в небольших ролях. Я, например, его помню только исполнявшим роль купца Абдулина в гоголевском «Ревизоре». Рассказчик сценок из народного быта Горбунов был неподражаемый. И появление на сцене этого толстого, высокого роста человека, в слишком широком фраке и в не всегда чистой сорочке, приводило демократическую публику Александринки в восторг. Я нарочно называю публику, посещавшую в то время этот театр, «демократической», потому что аристократия петербургская считала ниже своего достоинства посещать — fi donc! — спектакли русской группы, несмотря на прекрасный ансамбль (Петипа, Сазонов, Варламов, Свободин, Писарев, Давыдов, Савина, Жулева, Стрельская, Стрепетова, Левкеева, Абаринова 1-я), зато усердно бывала в опере, да и то в итальянской, а не русской, балете, на спектаклях французской группы и... в цирке (по субботам).

Вот этого-то Горбунова очень жаловал мой отец. Горбунов в долгу не оставался и, бывая у нас, рас-

сказывал свои импровизации, заставлявшие всех покатываться от хохота.

Как-то раз отец и мать, разговаривая вечером в папином кабинете, услышали в гостиной рядом странный диалог. Одним из говоривших был несомненно Горбунов, а другим, повидимому, извощик. Этот последний настойчиво требовал прибавки денег за езду, а первый отказывал. Начинался целый скандал из-за какого то гривенника, яко бы недоплаченного И. Ф.

Моих родителей весьма смутил этот инцидент, и мама вышла в гостиную, чтобы его прекратить.

Каково было ее изумление, когда она увидала в гостиной одного Горбунова, весело рассмеявшегося при виде удивленного лица моей матери. Он, как всегда, был немного в градусе и устроил моим родителям сюрприз, импровизировав сценку с извощиком.

Больше всего отец не любил журналистов, работавших в так называемой «бульварной прессе».

Он находил, что эти господчики не кто иные, как сплетники, пьяницы, отпетые люди и т. д., ничего с литературой и серьезной журналистикой общего не имеющие. Впрочем, «Петербургскую Газету» он просматривал и даже с интересом читал маленький фельетон, который писал почти ежедневно в этой газете небезызвестный лабазник-писатель Лейкин. Очень, между прочим, его смешили фельетоны, касавшиеся похождений купца и купчихи за границей. Да и вообще, по его мнению, Лейкин, кстати сказать, в бы-

ность свою редактором «Осколков» открывший незабвенного А. П. Чехова и положивший начало славе тогдашнего скромного «Чехонте», — был весьма талантливым человеком. Зато «Петербургский Листок» Скроботова (тогда еще не было пронырливой «Биржевки») папа не выносил. Дважды он, насколько помню, был в большой претензии на «Газету» и вот по какой причине. Мы жили летом в Ораниенбауме, на одной из дач купца Синебрюхова, рядом с небольшим имением известного садовода Еракова, с которым отец был в довольно хороших отношениях, знанию которого он верил. Знания эти он использовал, когда сделался петербургским горе-помещиком, но об этом—пониже.

И вот мы жили на даче, и как то ночью к нам забрались в столовую, где в буфете лежало серебро, воры. Однако, украсть им ничего не удалось, т. к. своим кашлем их испугал отец.

В другой раз я с сестрой резвились в довольно большом синебрюховском парке, и ее ужалила в ногу змея. Она закричала и плача просила меня ее спасти. Я не растерялся и, помня рассказы о том, что при ужалении змеи следует немедленно высосать из укуса часть крови, сделал сестре тут же на месте, эту операцию, за что меня потом весьма хвалили.

Про эти два факта узнал местный корреспондент «Газеты», огласивший их в печати.

Отец нашел, что журналист мешается не в свое дело, вмешивается в частную жизнь людей, что, по

его мнению, в высшей мере недопустимо, и был во-
обще в претензии на редакцию, напечатавшую об
корреспонденции.

О том, как недолюбливал отец представителей указанной части печати, говорит следующий факт.

Как-то весной, когда мама с сестрой выехали не то на дачу, не то в имение, а я с папой оставались в Петербурге (у меня был экзамен, а отец задерживался по делам редакции), мы пошли в ресторан Палкина обедать. В общем зале мы застали за большим столом, уставленным явствами и питиями, шумную компанию. То праздновали какое-то редакционное событие сотрудники одной газетки. По всему было видно, что праздновавшими было немало выпито. Отец посмотрел на них, поморщился, но все же уселся со мной в углу зала, не обращая на пировавших внимания. Эти последние узнали, однако, отца, и один из них, вдруг поднявшись с места, провозгласил за него тост.

Отец резким движением бросил салфетку на стол, встал и, обращаясь ко мне, сказал:

— «Пойдем, Костя, отсюда... здесь скоро начнут драться», и скорыми шажками направился к двери, бормоча под нос, что недоставало, чтобы всякие и т. д. пили за его здоровье.

Насколько не любил отец указанную прессу, настолько он уважал мнение большой печати, получая и просматривая не только «Новости» (сменившие «Голос») Нотовича и «Русские Ведомости» (...

кого, но и «Новое Время» Суворина и «Московские Ведомости» Каткова. Других органов крупной печати в то время не было, если не считать уж и тогда пришедших в упадок «С.-Петербургских Ведомостей». Из заграничных изданий у нас получали «Le Temps» и берлинский «Кладеррадач», большая часть карикатур которого приходила покрытой слоем типографской краски, дабы нельзя было их рассмотреть. Таковы были правила цензуры, не допускавшей насмешек над великими мира сего (понятно, русского). Будучи действительным статским советником, папа имел право ходатайствовать перед министерством внутренних дел о получении газет и журналов без предварительной цензуры, но он этим правом не пользовался, и в результате немалая часть остроумнейших карикатур «Кладеррадача» осталась для него неведомой.

Теперь, говоря о тогдашней русской «большой» печати, я должен заметить, что, хотя папа совершенно не долюбливал «Нового Времени», называя его «Красой Демидрона» и другими, не менее хлесткими названиями, он в то же время высоко ставил издателя А. С. Суворина, сумевшего из ничего создать такое большое дело. Действительно, Сувориным на это было потрачено немало труда. О. К. Нотовичу было легче наладить свои «Новости», т. к. к нему сразу примкнули сотрудники закрытого «Голоса».

Вообще отец любил трудиться и работать и требовал от своих сотрудников как на государственной

службе, так и на службе редакционной, большой работоспособности. Он недоумевал, как это можно сидеть без работы,—просиживая сам над ней, несмотря даже на недуги, почти целыми днями и ночами.

— Но М. Е.,—как-то раз пробовал возражать ему Терпигорев (Сергей Атава), которому отец выговаривал за то, что он, несмотря на полученные авансом деньги, не представлял в редакцию «Отечественных Записок» материала,—коли не пишется»...

— Этого быть не может,—резко перебил его попытки дальнейшего оправдания отец,—писателю стоит сесть за письменный стол, взять перо в руку и у него немедленно является перед глазами тема для письма... По крайней мере так всегда бывает со мной,—добавил он.

Но если папа много требовал от подчиненных ему лиц и своих сотрудников, то он умел им в минуты жизни трудные помочь.

Работникам пера он помогал, как я уже упоминал, тем, что вызволял их из беды довольно-таки большими авансами; другим, особенно же молодым, он помогал советами и, кроме того, не гнушался исправлением их литературных произведений. Некоторые из начинавших в то время, затем достигнувших в литературе и журналистике известности, писателей, очевидно, не раз помянули добрым словом сурового старика с седой бородой, своим участием давшего им возможность выйти в люди. Некоторые

же, как это ни странно, в большинстве случаев довольно таки бездарные люди, были в претензии на отца за то, что он самочинно исправлял их труды. Так, например, некий господин, вообразивший, что он беллетрист, представил отцу какую-то повесть, написанную из рук вон плохо. Идея же, проводимая в ней, отцу понравилась и он, не долго думая, написал на эту тему свое собственное сочинение, пропустив его в журнал за подписью автора неудачного произведения. Повесть привлекла внимание всей литературной критики, громко славословившей новоявленный талант, предсказывавшей ему большую и славную будущность, советуя ему, однако, меньше подделываться под Щедрина, а выработать свой собственный слог. Многие издатели допытывались у отца, где они смогут сговориться с новым, казалось, светилом в литературном мире, чтобы получить от него какое-либо из будущих его произведений. Мой отец посмеивался в бороду и давал просимые сведения. Недовольным остался только сам господин, написавший неудачную повесть. Он открыто негодовал на отца за переделку своего произведения. В дальнейшем он дал несколько вещей в другие редакции. Но материал оказался до того малоинтересным, что о напечатании его не могло быть даже речи. Все тогдашние заправилы журналов, незнакомые со всей подоплекой дела, полагая, со слов горе-беллетриста, что папа только исправил его повесть, удивлялись тому, как это мог человек сразу так «исписаться».

Состоя на государственной службе, мой отец также немало помогал своим подчиненным в нравственном и материальном отношениях. Так, например в гор. Пензе, где он был председателем казенной палаты, он учредил библиотеку служащих, выдавал беднейшим чиновникам значительные пособия, требуя, однако, от них работы, не обременяя в то же самое время их таковой. Вот, напр., случай, рассказанный мне скончавшимся несколькое лет тому назад бывшим начальником отделения пензенской казенной палаты Н. Л. Некотиным, служившим под началом у отца.

Как-то раз потребовалось представить в министерство финансов какие-то срочные сведения. В то время о пишущих машинках и представления не имели. Бумаги в министерство писали особые писцы-каллиграфы, обладавшие красивейшим почерком. Одному из них и было предложено переписать доклад довольно таки длинный, собственноручно написанный папой. Кто видел его почерк, несколько смахивающий на клинообразные письмена, может себе представить, как легко было писцам разбираться в его руке.

Поздно вечером того же дня возвращаясь из клуба, мой отец проезжал мимо казенной палаты. К своему удивлению он заметил в одном из окон здания свет. Предполагая, что в учреждении могут орудовать злоумышленники, отец остановил своего кучера и, не без труда добудившись спавшего швей-

цара, отправился с ним вместе наверх. В общей канцелярии они застали «министерского» писца спящим сном праведных над неоконченной работой. [illegible] цимо усталость взяла верх над прилежанием, и чиновника сразил сон. Отец подошел к [illegible] взял бумаги: свой черновик и [illegible] и вышел из комнаты, наказав швейцару [illegible] слова про свое посещение не [illegible]. Придя домой, он, ввиду того, что бумага была срочная, и что почта отходила из Пензы как раз на следующий день, лично вписал конец донесения в начатую работу писца. Вышло довольно оригинально! начало бумаги было написано по всем правилам каллиграфического искусства, а конец представлял [illegible] нечто, [illegible] для того, кто не был знаком с отцовским почерком. Затем бумага была зарегистрирована, законвертована и направлена по адресу лично отцом. Можно себе представить весь ужас несчастного чиновника, когда он, проснувшись, не нашел на столе начатой работы. Он был вскоре успокоен отцом, приказавшим ему передать, что он его не винит в том, что он, будучи переутомлен непосильным трудом, заснул. Что же касается работы, то и о ней не следует беспокоиться, так как она выполнена. И писец успокоился.

Можно себе также представить ту сенсацию, которое произвело появление бумаги в министерстве финансов. Бюрократы этого учреждения были поражены отцовской смелостью, и немедленно был

кий нагоняй в письменной форме. Получив этот самый нагоняй, отец на обороте министерской бумаги написал: «угрозами не руководствуюсь» и, подписав, отослал ее обратно в Петербург. Все в Пензе думали, что его предадут суду за подобную продерзость. Однако, ко всеобщему удивлению, ничего неприятного для отца не произошло. Министерство на «продерзость» ничем не реагировало. После этого события уважение к моему отцу, как в пензенском обществе, так и среди подчиненных, еще больше возросло.

Когда отец покидал Пензу (свое последнее место службы), служащие устроили ему самые теплые проводы. Многие плакали, расставаясь со взыскательным, требовательным, но, вместе с тем, справедливым начальником, старавшимся улучшить, насколько мог, быт невежественных, темных, но добродушных и трудолюбивых провинциальных чиновников. Его портрет был повешен в присутственном зале палаты, что означало особое к нему уважение со стороны чиновничества. До сего времени сохранилось в целости его кресло, которое называется «Щедринским».

III.

Как я уже выше писал, отец, вообще, не дружил с собратьями по перу. В последние годы своей жизни он даже мало интересовался чужими литературными трудами. После него осталось много брошюр, книг с собственноручным посвящением разных писателей. И

все эти брошюры и книги оказались неразрезанными. Из этого видно, что он их даже не просматривал. Среди писателей того времени был один, которого отец ставил чрезвычайно высоко и рядом с которым он завещал себя похоронить. То был И. С. Тургенев. Надо сказать, что мне оказалось возможным исполнить эту папину последнюю волю, т. к., будто нарочно, в самом близком соседстве от Тургеневской могилы на Волковом кладбище в Петербурге, оказалось свободное место, которое мы и приобрели. Там теперь рядом с ним похоронена скончавшаяся в декабре 1910 года верная подруга его жизни, его жена, моя мать.

Об И. С. отец отзывался всегда с восхищением, особенно ценя превосходный язык, которым писал автор «Записок Охотника». Он жалел, что не может выражаться в своих сочинениях так ярко и красочно, как И. С. Он сожалел русского человека, всей душой любившего свою родину и так нелепо, и можно сказать несуразно, от нее оторвавшегося. Останься Тургенев в России, он бы, по словам моего отца, написал вещи, которые бы много превосходили то что им было написано на чужбине.

И отец не мог простить Виардо, что она увлекла за собой во Францию и не отпускала оттуда того, которого он считал одним из гениев русского слова. Его сердило и то, как эта самая Виардо и ее супруг бесцеремонно и даже глумливо обращались с Тургеневым.

Как-то раз, будучи в Париже, отец пожелал увидеться с Иваном Сергеевичем и, взяв меня с собой, отправился в Буживаль, где в одной вилле с супругами Виардо проживал автор «Рудина». Мы отправились туда в экипаже, т. к. в то время Буживаль не был соединен с Парижем железной дорогой. Хотя я в то время был мал, но все же помню, какое огромное впечатление произвел на меня тогда Тургенев с его львиной гривой полуседых волос, с чудными голубыми глазами и какой-то наивно-смущенной улыбкой на лице. Одет был И. С. в белый полотняный костюм и большую соломенную шляпу. Весь его облик импонировал, несмотря на простой наряд, на смущенный вид, своей величественной осанкой, которой может похвастаться редкий человек. Отец засыпал И. С. вопросами об его работах, планах будущего, особенно интересуясь тем, намерен ли он возвратиться на родину. Мы сидели в садике на плетеных креслах и И. С., заложив ногу на ногу, все так же смущенно улыбаясь, односложно отвечал на вопросы, вопрос же о возвращении своем в Россию как-то замял, что, видимо, привело в раздражение моего отца. Вообще было видно, что наш визит не особенно-то обрадовал добровольного эмигранта. Он все время косился по направлению к вилле, и когда отец стал с ним прощаться, то великий романист нас не удерживал. Виардо мы так и не видели, но, вероятно, что она незримо присутствовала при разговоре. Такова была ее привычка,

как о том сообщил нам затем покойный М. М. Ковалевский, живший в одном с нами меблированном доме на площади Магдалины, № 31, иногда посещавший И. С.

Визит удручил моего отца, говорившего не без раздражения, что И. С. потерян для России.

В то время денежные дела И. С. были в очень скверном положении. Писал он много, но редактор Н. А. Некрасов не высылал ему гонорара. Это видно из переписки между названными писателями, опубликованной в «Вестнике Европы». Тургенев во всех своих письмах просил у Некрасова денег, а тот отвечал, что их у него нет, но что он надеется выиграть их в карты. Эта нелепо напечатанная переписка подтверждает страсть Некрасова к картам, в которые он, видимо, проигрывал даже гонарар своих сотрудников и большую часть прибыли, получавшейся от издания журнала.

Таково было мое единственное свидание с Тургеневым -- живым, затем я присутствовал на его похоронах, многолюдных и торжественных, на которых сотни лиц всех сословий и званий искренно оплакивали любимого учителя и великого писателя земли русской.

IV.

Как известно, мой отец еще задолго до своей кончины почти постоянно хворал. Недуги его описаны в воспоминаниях о нем бывшего ассистента проф. С. П. Боткина—д-ра Белоголового, покинувшего

Россию и поселившегося сначала в Германии, в Висбадене, затем в Блазевице, под Дрезденом, и, наконец, на юге Франции, так что интересующиеся историей его болезни могут найти в этих воспоминаниях врача, лечившего отца, все касающиеся этих недугов сведения.

Первопричиной недугов была неожиданная высылка отца из Петербурга в Вятку в трескучий мороз, при чем сопровождавшие его жандармы не позволили ему даже взять с собой самую необходимую теплую одежду. Эта поездка на курьерских, конечно, не прошла ему даром.

Я лично помню его всегда больным. Помню, как в Баден-Бадене его возили в кресле, т. к. он не мог временно владеть ногами, помню наши с ним совместные поездки то в Эмс, то в Висбаден, то опять в Баден-Баден, где он усиленно пил воды. Ему во время пребывания в курортах запрещено было работать и курить, но он на эти запрещения не обращал должного внимания, т. к. не мог пробыть дня без работы, а работать продуктивно он мог только с папиросой в зубах. Курил отец больше сотни папирос в день. Папиросы эти ему сначала доставлял его бывший лакей, который, покинув службу, открыл табачную торговлю в Петербурге на бывшей Малой Итальянской, ныне улице Жуковского. Из этого обстоятельства видно, что, служа у отца, его лакей сколотил немалую деньгу. Впрочем, табачная торговля недолго просуществовала, и магазинщик

«прогорел». Он был, кстати сказать, «родоначальником» собирательного лица, Разуваева, которое не раз упоминается в папиных произведениях. Когда поставщик разорился, отец перешел на другие папиросы. Возможно, что невоздержание в курении гибельно отозвалось на общем состоянии отца.

Итак, повторяю, я помню отца вечно больным и чрезвычайно нервным человеком. Вера в искусство врачей у него была громадная, и все докторские предписания, кроме указанных выше, он свято выполнял, глотая пилюли и микстуры строго в назначенное время. В Петербурге его лечили одновременно Боткин, Соколов и Васильев, при чем главные директивы исходили от первого из них. Эти три врача, в последние годы жизни отца, аккуратно посещали его ежедневно в назначенные часы, и, если случалось одному из них опоздать, то отец чрезвычайно нервничал, обвиняя их в том, что даже они его забыли. За границей же он старался быть поближе к Белоголовому и даже часть одного лета провел с этой целью в Саксонии, в Блазевице, местечке, расположенном на реке Эльбе, надо ему отдать полную справедливость, скучнейшем. Отсюда отец ездил с нами любоваться прекрасными видами Саксонской Швейцарии, которые произвели на него большое впечатление.

Но курорты не приносили здоровью отца видимой пользы. Вскоре после закрытия «Отечественных Записок», события, имевшего решающее значение в

повороте здоровья моего отца к ухудшению, с ним случился первый удар, от которого он хотя и оправился, но который, вместе с тем, довел его до скорой могилы. За границу уже летом не ездил, а проводил лето на дачах под Петербургом. Так мы жили то в Сиверской (СПБ—Варш. ж. д.), где его лечил местный дачевладелец—д-р Головин, то на Серебрянке (по той же дороге), где его лечил местный помещик—д-р Кобылин, приезжавший к нам почти ежедневно за десять верст, то, наконец, в имении тогдашнего Туркестанского генерал-губернатора фон-Розенбах. Лето, проведенное в этом имении, было последним в жизни отца. Рядом с «Затишьем» — так звали розенбаховское небольшое поместье, находилось имение ген. Ф. И. Жербина, владевшего, кроме того, большим доходным домом в Петербурге на Михайловской площади (угол Инженерной улицы). Как дом, так и имение владельцу никакого дохода не приносили, будучи заложенными и перезаложенными. Однако, несмотря на это, у Жербиных был всегда гостей полон дом. В Петербурге у них в квартире даже имелся театральный зал, где давались спектакли. Средства материальные исходили, главным образом, от матери Л. М. Жербиной, происходившей из богатой купеческой семьи. Сама Жербина, весьма радушная, благовоспитанная дама, увлекалась спиритизмом. Для сеансов были отведены, как на даче, так и в городском доме, особые комнаты. Сеансы эти напоминали те, что описаны гр. Л. Н. Толстым в его

Плодах просвещения». После сеансов танцовали, исполняли модные тогда, цыганские романсы и, наконец, ужинали. Днем же на даче устраивались пикники, молодежь флиртовала во всю и вообще веселилась. И вот, когда отец поселился на даче Розенбаха, эта совсем не подходящая к нему компания захотела и ему доставить кое-какое развлечение. Однако, затея никакого успеха не имела. Папа принял Жербиных чрезвычайно сухо, отдал им визит, кажется, даже не выходя из коляски. На этом и кончились тесные сношения с Жербиными. Папа косо смотрел на мои посещения «Лизина», так звали имение Жербина, но их мне не возбранял, хотя часто во всеуслышание, ни к кому, собственно, не обращаясь, повторял, что посещение праздных людей может только испортить молодежь, помешать ей хорошо учиться и сделаться полезным членом общества. Я, подобно крыловскому коту Ваське, слушал эти монологи, но продолжал бывать у Ж. Плохого от этого ничего не произошло. Особенно, почему-то, недолюбливал отец одного из близких знакомых Ж., сына покойного серебряных дел мастера М. Этот молодой человек, весьма богатый, блестяще окончивший курс юридических наук в петербургском университете, болел глазами, вследствие чего он ни к какому труду не был способен. Правда, он отлично играл на фортепиано, но все же виртуозом его нельзя было назвать. Да к тому же проклятое болезненное состояние не давало ему возможности усовершенствоваться

в этом искусстве. И вот, С. приходилось волей-неволей жить праздно. Желая доставить удовольствие и барышням, жившим летом в «Лидине» и «Затишье», он ежедневно посылал им цветы и конфекты. В числе других посылал эти подарки и моей сестре. Узнав об этом, папа запретил принимать что-либо, исходящее от «праздношатая», как он называл С. Как то раз, этот последний, не подозревая нелюбви отца к себе, пришел к нам с визитом. На его беду дома был только отец, к которому горничная его, почему-то, провела. Недовольный как посещением С. вообще, так и тем, что его оторвали от работы, папа принял визитера чрезвычайно сурово, упорно молчал и, по своему обыкновению, выражавшему нервное состояние, барабанил пальцами по письменному столу. С. сидел перед ним и, глядя в упор на пол, с жалкой улыбкой на лице вертел в руках шляпу.

Молчание прервал отец, задав посетителю вопрос о том, сколько шагов имеет длина Невского пр. от Аничкова моста до угла Б. Морской улицы. Озадаченный странным, по его мнению, вопросом, С. не нашел, что ответить. Тяжелую для него сцену прервал вход в кабинет моей матери. Он долго, однако, не мог сообразить причину, побудившую моего отца задать ему непонятный для него вопрос. На самом же деле суть его уразуметь было легко. Дело в том, что в описываемое время не желавшие работать молодые люди из богатых семей Петербурга ежедневно

после завтрака «гранили» тротуар солнечной стороны Невского, т.-е., другими словами, прогуливались именно между указанными выше пунктами главной улицы столицы, проходя расстояние взад и вперед. Богоген и желал иносказательно дать понять С., что он его причисляет к тем бездельникам, которые в то время от часу до трех украшали своими персонами Невский и знали эту улицу так хорошо, что им должно было быть известно даже число шагов между двумя ее пунктами—пределами их ежедневного гулянья.

В «Лидине», в честь пребывания в нем отца, его фамилией была названа дорога, по которой он ежедневно совершал в коляске прогулки.

Вся вообще светская публика была не по нраву папе. Он над ней едко и зло трунил, давая тем из ее представителей, которые имели несчастье попасться ему на глаза, меткие, но чрезвычайно обидные для самолюбия прозвища.

Будучи в то время занят «Пошехонской стариной», —он ничего не успел о ней, этой публике, написать, т. к. смерть, уже давно его сторожившая, не дала ему на это времени.

Надо сказать, что дачная жизнь вовсе не нравилась отцу, привыкшему или иметь свой клочек земли, вроде «Витенева» под Москвой или «Лебяжьего», недалеко от Ораниенбаума, расположенного почти при семафоре «Красная горка», или же странствовать заграницей, при чем любимым его городом был Париж, уличная жизнь которого, бойкая и задорная, доста-

[illegible] ему несказанное удовольствие. Полечившись в Германии, папа обыкновенно ездил в Париж, и насколько хватало сил, жил его уличной и театральной жизнью, забрасывая временно всякую работу. Сам водил нас смотреть в Елисейские поля «Guignol» (Петрушку), при чем от души смеялся, когда этот последний дубиной колотил жандарма и полицейского комиссара; ходил с нами кормить лебедей в Тюльерийском саду, ездил с нами на «grandes eaux», т.-е. смотреть на фонтаны в С. Клу и в Версале. Целыми часами гулял по бульварам, приходя домой усталым... но довольным. Все удивлялись той перемене, которая происходила в нем, когда он ощущал под ногами асфальт парижских бульваров. Он становился жизнерадостным, и обычная суровость неизвестно куда исчезала.

— Я,—как-то сказал он кому-то при мне, — тут перерождаюсь. Ну, а там... махнул рукой, очевидно, намекая на Россию,—я старая, разбитая, рабочая кляча. И все же, — без нее (т.-е. без России) я обойтись не могу... И умру с радостью, служа ей...

Как любил мой отец Россию, как он скорбел ее скорбью, как болел ее болезнями — видно из всех его, произведений. Особенно же ярко выразилась эта бескорыстная, честная любовь к родине, нищей, темной, но все же сердцу милой, в заключительной главе к «Убежищу Монрепо» и в сказке «Пропала совесть».

Поэтому, понятно, как скорбел он, видя, что такие люди, как Тургенев, д-р Белоголовый, критик Анненков, добровольно покидают Россию и даже, как, напр., последний из названных лиц, роднятся с иностранцами: дочь Анненкова, Вера, вышла замуж за какого-то германского обер-лейтенанта.

Касаясь Анненкова, я не могу не привести одного комического эпизода, к нему относящегося.

Отец как-то приехал в Висбаден и нанял квартиру на улице, ведущей от Таунус-штрассе к русской церкви. Утром он сидел на балконе, выходящем на улицу, и пил кофе. В это время мимо дома проходит Анненков. Отец его окликнул. Тот остановился и вопросительно взглянул на папу. Этот последний звал его к себе, но Анненков продолжал стоять на улице.

— Разве вы меня не узнаете?—спросил его, наконец, отец, начиная раздражаться.

— Узнать-то узнаю,—ответил тот,—да как это мне священник ничего про ваш приезд не говорил,—недоуменно пожал он плечами.

— Да на что вам священник,—удивился папа: я ведь в курлисте записан.

— Ну ее, махнул рукой Анненков.—А я все-таки лучше у священника о вашем приезде справлюсь... Так вернее будет...

И, оставив озадаченного происшествием отца, стал подниматься в гору, по направлению к блестевшей на солнце золоченым куполом церкви

которая, как известно всем бывшим в Висбадене русским, расположена на холме, так что ее видно на далеком от городка расстоянии.

— Ну, и чудак же,—разводил потом руками отец, рассказывая о происшествии в то время проживавшему в Висбадене д-ру Белоголовому.

Да, отец пылал к своей родине самой чистой, святой любовью, несмотря на то, что его постигали лишь одни разочарования. Он вечно чего-то боялся, к чему-то нехорошему подготовлялся.

Приближаясь, при возвращении домой из-за-границы к Вержболову, он как то сразу увядал, нервничал, не отвечал на вопросы, курил папиросу за папиросой, вынимая их из большой, коричневой кожи английской работы, папиросницы, которую носил на ремне через плечо,

А между тем приезд в Вержболово и пребывание на этом пограничном пункте не представляли из себя ничего страшного.

В то время начальником станции Вержболово был симпатичный старик, бывший офицер, по фамилии Маркович. Его знали положительно все петербуржцы, которые обычно ежегодно ездили за рубеж — кто—просто так прогуляться, кто сбавить жира, кто—по делам службы или коммерческим. Знали его также все так называемые «высокие особы» русские и иностранные, которым приходилось проезжать через вверенную его попечениям станцию. Грудь его па-

радного мундира была увешана как русскими, так и иностранными знаками отличия.

Так вот, возвращаясь домой, моя мать обыкновенно из Берлина предупреждала об этом Марковича, который и встречал нас с своим обычным радушием. Обыкновенно на платформу вместе с начальником станции выходили нам на встречу - начальник таможни и жандармский ротмистр. Маркович отбирал у нас паспорта, начальник таможни - багажную квитанцию, а ротмистр провожал нас в станционный, буфет, куда, вслед за тем, те же должностные лица приносили нам отобранные документы, при чем, вероятно, никто в наших вещах не рылся. Такое внимательное отношение со стороны пограничных властей несколько успокаивало отца, и он приглашал их к столу и заставлял слушать повествование о своих болезнях, что было одной из любимых тем его разговоров. Марковича заменил не менее предупредительный Христианович. То же внимательное отношение к нам повторялось каждый раз, как мы проезжали границу, и все-таки, несмотря на это, каждый раз, как поезд покидал Эйдкунен, последнюю прусскую станцию, отец видимо чрезвычайно волновался, как бы боясь, что его возьмут, да арестуют.

Но этого ни разу не случилось, несмотря на то, что наш петербургский сосед, К. П. Победоносцев, не переставал рекомендовать в так называемых «сферах» отца, как человека совершенно нежелательного, вредного даже, которому следует запретить писать.

Особенно настаивал он на этом перед министром внутренних дел гр. Дм. Толстым, который был одноклашником отца по лицею. К чести этого сановника надобно сказать, что он наотрез отказал Победоносцеву в его просьбе, заявив, что, пока он министр, его старого товарища не тронут.

Интересно отметить по этому поводу, что Толстой скончался за день-два до смерти папы. В то время, как этот последний агонизировал, тело его заступника предавалось земле.

V.

Отец всегда стоял за то, чтобы я и моя сестра хорошо знали иностранные языки. Как известно из письма к нам, опубликованного в биографии отца К. К. Арсеньевым, он писал, чтобы мы получше изучали немецкий язык, чтобы в будущем служить переводчиками ему и маме. В целях сделать из нас хороших языковедов, он приглашал к нам то француженок, то немку, то, наконец, англичанку. Усилия его в этом отношении увенчались успехом: я и моя сестра Лиза свободно изъясняемся на этих трех языках.

Из француженок, которые у нас были, стоит упомянуть про безобразнейшую по внешности Мари Одуль. Она мнила себя весьма привлекательной особой, жеманилась и кокетничала с отцом, к великой его потехе. Кончила она жизнь трагически в доме умалишенных, безнадежно влюбившись в кого-то.

Другая француженка, m-me Ситок, юненькая боялась папы, который, однако, никаких неприятностей ей не делал, и не знала куда деваться в его присутствии.

Немка, М. П. Петерсон, рекомендованная, как и Одуль, Унковскими, сделалась скоро чем-то вроде члена нашей семьи и помогала даже ухаживать за отцом, который ее очень ценил.

Но не только о знании нами иностранных языков заботился папа. Он желал сделать меня и сестру людьми вполне грамотными и, кроме того, музыкантами. Были приглашены учителя. Я музыкантом не стал, зато сестра очень недурно играла на фортепиано, а впоследствии из нее выработалась недюжинная певица. Игре на фортепиано обучал нас — меня безуспешно — известный в то время в Петербурге пианист, аккомпаниатор моей двоюродной сестры, певицы Веревкиной, Кившенко, а хоровому пению в семье Гогель — небезызвестный Рубец. В дальнейшем пению сестра обучалась у итальянки М. Мази, создательницы партии Джиоконды, в опере того же названия.

Попав в гимназию — в петербургскую казенную шестую, затем в частную Гуревича, где был полупансионером, я учился не особенно хорошо, не лучше моего одноклассника, сына Достоевского, Федора. Мне совершенно не давался греческий язык. Отец всячески урезонивал меня получше учиться этому языку, угрожая, что, в случае если меня исключат за незнание его, он меня отдаст пасти свиней. Но, несмотря

на все желание постичь греческую премудрость, она мне никак не давалась, и меня пришлось перевести в «alma mater» моего отца — лицей, где обходилось без греческого. Там дело учебы пошло получше. Неприятно, однако, было то, что мне в лицее пришлось быть полным пансионером, вследствие чего я мог бывать дома только в праздничные дни и в каникулярное время. Мое обучение в вышеназванном закрытом учебном заведении давало родителям возможность сберечь немалые деньги. Дело в том, что, при переходе из малого лицея, т. наз. приготовительных классов, в большой (т.-е. из 5-го в 6-й гимназический класс), существовал для детей гражданских чинов 4-го класса и гвардии полковников или генерал-майоров армии конкурс для занятия казеннокоштных вакансий. Мой отец был отставным действительным статским советником, а потому я имел право участвовать в конкурсе. Годовая плата за учение в лицее на всем готовом составляла 800 рублей, что в то время было деньгой немалой. Помню, что отец, как всегда, очень волновался перед и во время экзаменов и все просил меня его «не подвести». Я оказался добрым сыном и «не подвел» родителя, выдержав конкурсное испытание первым. В награду за выказанное геройство мне, кроме полагавшегося казенного мундира, сшили и собственный, которым я очень гордился, и купили форменную треуголку. Повеселевший отец вспоминал, как он, будучи лицеистом, школьничал, причем, как то однажды, катался вер-

хом на французе-воспитателе. Мой отец тоже прошел курс наук в лицее казеннокоштным воспитанником, будучи стипендиатом московского дворянского пансиона. Но о своем пребывании в этом привилегированном учебном заведении не любил говорить и о нем не писал, ограничив воспоминания о своей школьной жизни несколькими строками в эскизе «Скука».

Моя сестра училась в известной в то время женской петербургской частной гимназии кн. Оболенской, где, между прочим, ее подругами были дочери известного петербургского же адвоката С. А. Андреевского и дочь М. А. Унковского Софья, впоследствии удалившаяся в родное имение отца, находившееся в Тверском уезде при с-це Дмитрюкове, где она открыла на свой счет школу для крестьянских детей, каковому делу и отдалась всею своей душой. Учительствовала С. А. до самой смерти. Таким образом, два члена семьи Унковских принесли существенную пользу местному крестьянству: отец, как я писал выше, роздал часть своей земли безвозмездно крестьянам, а дочь, бескорыстно, единственно из любви к темному народу, сделала что могла, чтобы пролить в невежественную массу свет учения.

Во время пребывания сестры в гимназии произошел инцидент, о котором много говорили в свое время в Петербурге. Сестре задала учительница русского языка Л. М. Авилова написать на дом какое-то

сочинение. Она засела за работу, но дело, видимо, не клеилось, и она заплакала. С заплаканными глазами вышла она к вечернему чаю и, на вопрос отца о причине горя, сказала ему, что так-и-так—не может выполнить заданной ей письменной работы. Отец, шутя, пожурил ее за то, что она, будучи дочерью писателя, не в состоянии сама сочинять. Затем позвал ее к себе в кабинет, заставил рассказать тему заданного письменного упражнения, нашел, что она для детского понимания, действительно, не особенно подходящая. Однако, как никак, а сочинение нужно было представить написанным на следующий день. И вот, отец, вооружившись пером, сам его написал, приноравливаясь к детскому пониманию темы. Моя сестра все написанное отцом переписала и на следующий день, не без гордости, подала «свое» сочинение Авиловой, ожидая за таковое не менее пятерки, быть может даже с плюсом. Каково же было ее разочарование, когда, получив свою тетрадку обратно, она увидала под своей рукописью начертанную цветным карандашем жирную двойку с минусом. Горю ее не было пределов, и она, вернувшись домой, упрекала отца в том, что он ей испортил «четверть». Папа же много хохотал над инцидентом и рассказывал всем знакомым о том, как ему была за сочинение поставлена двойка с минусом, показывая им при этом тетрадь. Конечно, Авилова узнала про случившееся и в свое оправдание говорила, что она потому поставила Лиле такой низкий балл, что подозревала, что сочи-

нение писала не она. Впрочем, кажется, эта двойка не испортила сестриной «четверти».

Мне кажется теперь уместным коснуться тех вообще отношений, которые существовали между отцом и нами—детьми, и между ним и мамой.

Из опубликованных К. К. Арсеньевым писем отца к нам уже видно, что он относился к нам очень любовно. И, действительно, когда заботы и работа не поглощали отца целиком, и когда физические недуги не так сильно давали себя чувствовать, он обращался с нами с несказанной нежностью. Как я уже писал выше, во время нашего пребывания в Париже, где он чувствовал себя великолепно, отец почти постоянно гулял с нами по городу, ездил с нами в окрестности и кормил нас до отвалу конфектами и теми sucre d'orge, которые палочками продавались и, полагаю, теперь продаются в лавченках на Елисейских полях. Когда мы жили в его имении «Лебяжье», близ Ораниенбаума, то, приезжая туда раз в неделю, на воскресенье, из Петербурга, он привозил нам всегда всякого рода лакомства. Когда я болел скарлатиной, он был сам не свой. И, вообще, старался всегда доказывать нам свою действительно искреннюю любовь. Но, к сожалению, страдания, которые он испытывал, неприятности, которые ему приходилось переносить, слишком часто напоминали о себе, а потому мало светлых минут мы видели от него. Но, все же, его непрестанные заботы о нас, его всегдашнее желание угодить нам – все это было нам хорошо известно, и

мы всегда с любовью, несмотря даже на иногда не совсем справедливые окрики его — к нему относились.

В последние месяцы своей жизни, когда папа совершенно уединился в своем рабочем кабинете, невыносимо страдая от физической боли, он не мог заснуть спокойно, если я и моя сестра не приходили его поцеловать на сон грядущий. Он тоже нас целовал, и я всегда буду помнить его худое лицо с длинной седой бородой, которое так ласково глядело на нас во время этих прощаний. Я не знаю, прав-ли я, но мне кажется, что отец потому требовал от нас выполнения этой церемонии, что, ложась спать, не был уверен в том, что на утро проснется, и ему было необходимо с нами прощаться, быть может, последним целованием, отходя ко сну.

Мои родители были долго бездетны, а между тем, отцу очень хотелось иметь наследника, для которого ему было бы интересно работать. Желание его осуществилось, когда он уже был в отставке и имел 45 лет от роду. Как мне передавала моя мать, мое появление на свет божий привело его в восторг. Он, как говорится, не знал, куда деваться от радости, и целыми днями пропадал из дома, разъезжая по знакомым, которым об'являл о приятном для него происшествии, говоря, что теперь он будет еще больше предаваться своему труду, чтобы я в будущем ни в чем не нуждался и не должен был бы в свою очередь заниматься тяжелой литературной работой.

Через одиннадцать месяцев родилась моя сестра. Ее рождение уже не было встречено моим отцом с той же экзальтацией, хотя и оно доставило ему радость. Он, наконец, был отцом, да еще вдобавок двоих детей, что ему и во сне раньше не грезилось.

Переходя к отношениям, существовавшим между отцом и его женой, а моей матерью, я должен отметить, что многие совершенно неправильно утверждали, что эти отношения были плохие. Некоторые лица утверждали также, что моя мать — холодная кокетка, не интересующаяся литературным трудом своего мужа, что она только нарядами интересуется. Были инсинуации и похуже. Все это — выдумки досужих людей. Брак между отцом и матерью, дочерью вятского вице-губернатора А. П. Болтина, был заключен по любви. Это видно хотя бы из очерка отца «Скука», в которой мама фигурирует под именем «Бетси», и каждый из нас, читавший этот очерк, конечно, заметил, с какой любовной страстностью описывает писатель свою маленькую Бетси. И в дальнейшем отец относился к матери с той же любовью. В посмертной записке, оставленной мне, он завещал и мне любить мать. Из этого видно, что даже в последние минуты жизни он думал о той, кто когда-то была его маленькой Бетси в коротеньком платьице, и уж из могилы напоминал мне о том, что я должен прежде всего любить ту, которая была его верной подругой в течение его многострадальной, скитальческой жизни. И моя мать была до-

стойна его любви. Правда, что, будучи замечательно красивой женщиной, она любила хорошо одеться и причесаться по-модному, любила также разные дорогие украшения, но не требовала от мужа того, чего он дать ей не мог. Безропотно следовала она за ним из Вятки в Тулу, из Тулы в Рязань и т. д., не имея нигде постоянной оседлости, безропотно сносила все его капризы, зная, что они являются результатом его болезненного состояния. А когда он падал духом, ободряла и утешала его. И он бодрился и с новыми силами принимался за свой труд.

Да, много было ею сделано, чтобы сохранить России великого писателя, не раз с отчаяния решавшегося навсегда покончить с литературой.

Затем, мало кто знает, какой старательной сотрудницей она являлась в его литературных трудах. Дело в том, что отец писал какими-то иероглифами, совершенно непонятными для большинства не только малограмотных наборщиков того времени, но и для интеллигентных людей. Кроме того, он беспрерывно делал выноски на полях листа бумаги, связь которых с текстом было найти довольно замысловато. Вообще, рукописи его для человека, не освоившегося с его рукой, с его методом писания, представляли нечто крайне неразборчивое. И вот мама терпеливо занималась перепиской мужниных рукописей, которые в переписанном ею виде и попадали в наборные типографии. Этот труд стоил ей почти полной потери зрения.

Из изложенного ясно, что моя мать не была той пустой женщиной, о которой зря болтали досужие языки, а что она была всем своим существом предана тому делу, которому служил ее муж.

Добавлю, что, будучи женихом, мой отец не только ухаживал за моей матерью, но, вместе с тем, в[illegible] на себя обязанность пополнить ее и ее сестры, Анн[illegible] [illegible] как в русской словесности, так и в истории. Он, между прочим, составил для них курс истории, до сего времени нигде не напечатанный, в котором он высказал весьма оригинальные взгляды на исторический ход развития России. Рукопись была в руках моей сестры, ныне находящейся за границей, а почему она не опубликовала ее—мне неизвестно. Факт, мною приводимый, лучше всего доказывает, какие глубокие чувства питал отец к моей матери, когда собираясь сделать ее своей женой и подругой всей жизни.

Кстати, мало кому известно, отчего отец избрал себе псевдонимом фамилию—«Щедрин».

Дело обстояло так. Ему, когда он состоял еще на государственной службе, намекнули на то, что неудобно подписывать труды своей фамилией. И вот, папе пришлось подыскивать себе псевдоним, причем ничего подходящего подобрать не мог.

Как-то раз, прислонившись спиной к топленой печке, он жаловался матери на это обстоятельство. Выслушав отца, моя мать и предложила ему избрать псевдонимом что-либо подходящее к слову «щедрый».

т. к. он в своих писаниях был чрезвычайно щедр на всякого рода сарказмы. Отцу понравилась идея жены, и он с тех пор стал именоваться Щедриным. Буква Н. взята им из его же произведений, где он часто фигурирует под именем и отчеством Николая Ивановича. Как известно, в алфавите буква Н следует за М, а И за Е, каковые буквы —М и Е — заглавные его личных имени и отчества.

Сообщаю это со слов матери, которой не доверять не могу, т. к. в то время меня еще не было на свете.

VI.

Мой отец в общежитии был чрезвычайно доверчивым человеком. Эту особенность его характера многие эксплоатировали в свою пользу. Я уже писал о некоторых сотрудниках «Отечественных Записок», которые всячески выманивали у него денежные авансы под затем, зачастую, невыполнявшуюся ими работу для журнала. Эти господа «учили» его не раз, но он продолжал все-таки доверять им и, в конце концов, поплатился за это довольно крупной денежной суммой.

Доверчивость, с которой он относился к людям,— свойство, к сожалению, перешедшее ко мне, сыграла с ним немало плохих шуток.

Так, например, когда он захотел иметь свой собственный клочек земли и купил под Ораниенбаумом (С.-Петербургской губ.), у некоего Дуббельта, мызу

«Лебяжье», то ему управляющий этого самого Дубельта без ведома, конечно, своего доверителя, показывая имение, указал, как на входящий в состав таковаго лес с прекрасными деревьями. Лес этот, однако, оказался чужим, и когда папе понадобился на что-то лесной материал, и он послал туда рабочих, то их оттуда, понятно, спровадили. Моя мать тоже не была подготовлена к роли помещицы. В результате их обоих не обманывал только ленивый. Крестьяне за работу брали втридорога, фрукты из построенного отцом грунтового сарая куда-то исчезали. То же происходило и с парниковыми овощами. На скотном дворе были вечные недоразумения. И, таким образом, про моего отца, в качестве помещика, можно сказать, что не он пил кровь местного населения, а, что, наоборот, оно выпускало из него, всеми доступными способами, соки.

Свои невзгоды отец описал в «Убежище Монрепо». Доверчивость эта происходила оттого, что папа в жизни был честнейшим человеком, не [illegible] никогда ни копейки долгу, никогда никого материально не обманывал. Он и других мерил этой меркой, к сожалению, довольно неудачно.

О том, как он высоко ставил «звание честного человека», явствует из его предсмертного ко мне письма, в котором он завещал мне быть честным человеком в жизни.

За несколько лет перед смертью, папа, ранее уже ра[illegible]я с «Лебяжьим», не без убытку прода[illegible]

его петербургскому оптику Мильк, еще раз захотел стать собственником. Ему приглядели землю в Тверской, родной ему губернии, по линии вновь в то время выстроенной Осташковской (ныне Лихославль — Вяземской жел. дороги. Знакомые с его характером лица отговаривали его от затеи, утверждая, что его опять начнут обманывать. Однако, он стоял на своем, желая, как он говорит, быть ближе к народу и перестать странствовать по заграницам, да дачным местностям. Затее не суждено было осуществить ч по вине тверского земства, которое, узнав про намерение отца поселиться в родных палестинах (хотя и другого уезда), собиралось чествовать его приезд особенно торжественно на узловой станции. Когда об этом сообщили отцу, думая его порадовать, он страшно вспылил, обозвал тверичан людьми неразумными, подводящими себя под репрессии администрации своим желанием чествовать его, — вредного — человека, и отказался от мысли приобрести землю. Это было, пожалуй, лучшее, что он мог сделать.

Когда отец разочаровывался в людях, то он возгарался особой любовью к жившей у нас собаке домовладельца, которую он вообще жаловал, находя, что «Сбогар»,—так звали этого пса из породы сенбернаров, привезенного Красовским из Швейцарии, где у них под Лозанной было прекрасное имение, — честнее всех людей в мире. «Сбогар» был действительно верным псом. Он почти не отходил от отца, ласково глядя на него своими умными глазами. За

обедом и завтраком он сидел рядом с папой, и не без достоинства принимал из его рук подачки. Мы его возили с собой на дачу, при чем на Сиверской, переезжая на плоту через неширокую, но быструю речку Оредеж, он чуть было нас не утопил, вскочив на плот неожиданно посреди самой реки. «Сбогар» болел ушами, был уже немолодой собакой. Как-то раз он пропал, и больше мы его не видали. Папе это доставило большое огорчение. Говорили, что пес, предчувствуя смерть, не желая нас огорчать ею, — ушел умирать на сторону, в одиночестве.

VII.

В частной своей жизни отец был человеком нетребовательным. Правда, он любил известный комфорт, который мог себе позволять, зарабатывая довольно крупные по тому времени деньги. Но это был лишь комфорт, а отнюдь не роскошь.

В ящике письменного стола у него были разложены пачки кредиток, предназначенные: одна — на уплату денег за квартиру, другая — извозчику за поставляемую пару лошадей, третья на жалованье прислуге и т. д. И никакая сила не заставила бы его из'ять из них хоть один несчастный рубль для другого назначения.

Любил отец хороший стол, опять таки не роскошный, но сытный. Сам мастерил к селедке очень вкусный соус из томат, при чем гордился этим самым соусом. Иногда, когда еще был здоров, устраивал

ужины для близких друзей, которых приглашал повинтить. Играл он охотно по маленькой и обижался, когда проигрывал. Винтил он, по словам М. М. Ковалевского, бездарно, но мнил себя и в этом деле знатоком, утверждая, что виновниками проигрыша являются его партнеры. Для этих ужинов отец лично ездил выбирать закуску в магазин бр. Елисеевых на Невском пр., у Полицейского моста, где его хорошо знали приказчики. Там он обыкновенно пробовал понемножку всего, чему никто не препятствовал, ибо в то время все посетители этого магазина проделывали то же самое,—и, выбрав подходящие явства, покидал магазин. Одевался отец изящно, избегая, однако, слишком дорогих и модных портных... Матери и нам открывал на этот предмет кредит на известную сумму, не очень, однако, большую. Впрочем, нужды ни в чем мы не чувствовали. Единственной роскошью, которую, по необходимости допускали, были поездки за границу. Но и там мы никогда не останавливались в первоклассных гостиницах. В немецких курортах нанимали комнаты в какой-либо вилле, меблированной для приезжающих, а в Париже жили по большей части в недорогих меблированных комнатах на площади Св. Магдалины (place de Madelaine, 21), где, даже надо сознаться, прескверно обедали. Площадь, на которой мы жили, занята, кроме красивой церкви Св. Магдалины, еще цветочным рынком, представляющим из себя летом, когда он наполнен цветами всевозможных видов, изумительно красивое

зрелище. Мой отец подолгу любовался эффектной картиной из окна квартиры. Кроме того, под нами находился рынок крытый, в котором папа любил лично покупать знаменитый фонтенблосский виноград шассела, персики и грецкие орехи в их зеленой оболочке.

Только в одном Баден-Бадене мы жили в первоклассной гостинице «Hollandischer Hof». [illegible] почти напротив, на Софиен-штрассе, обитал известный врач Вейлиенталь, долго лечивший отца, который к нему питал большое доверие, как лицу, рекомендованному Боткиным. Этот немецкий врач имел большую практику среди русских и даже говорил немного по русски. Герр доктор любил играть на чувствительной струнке своих русских пациентов, титулуя их «превосходительствами» да «сиятельствами», восторгаясь их, иногда пренесносными, детьми, находя всех их восхитительными и, вообще, по мнению отца, был нравственно «продувной шельмой». Врач же он был талантливый, и когда мой отец, если можно так выразиться, обезножил, весьма ему помог. За это отец ему был очень благодарен и, бывая в Баден-Бадене, который ему нравился вследствие живописного положения, дарил ему сигары, которые тот принимал с знаками величайшего восторга.

Путешествия за границу доставляли отцу иногда неприятные сюрпризы. Так, напр. в Берлине имелся магазин, торговавший якобы запрещенными в России произведениями наших писателей — классиков. Не могу

сказать чего либо относительно других писателей, но достоверно могу сообщить, что мой отец впервые узнал, прочитав их, что им был написан ряд сказок, при чем очень безграмотных. Взбешенный бесцеремонным обращением с своим писательским именем, которым он очень дорожил, папа пошел объяснится с издателем этой «литературы». Из этих об'яснений, однако, ровно ничего не вышло, т. к. немец-издатель, весьма корректный господин, утверждал категорически, что эти сказки написаны именно тем автором, фамилия и псевдоним которого значились на обложке. И с этой позиции его никак нельзя было сбить. Жаловаться было некому, и мой отец на бесцеремонное обращение с его именем принужден был махнуть рукой.

VIII.

Трудовой день отца в то время, когда он был редактором «Отечественных Записок», протекал, насколько помню, следующим образом: напившись чаю, он отправлялся в редакцию, где и находился почти вплоть до обеда. После обеда он немного отдыхал. Затем являлся с корректурными листами из той же редакции некто Гаспар. И вот папа возился с этими корректурами, пил вечерний чай, после чего до поздней ночи опять возился с корректурами и находил еще время писать свои собственные произведения. Когда не ездил летом за границу, ввиду от'езда из Петербурга соредакторов, всю неделю проводил в душном,

пыльном городе без обычной прислуги, которую заменяла швейцарова жена, питался кое-как, по ресторанам, обычно у Палкина на Невском пр. И только по субботам ездил нас навещать, возвращаясь в понедельник утром в Петербург. Когда же мы ездили за границу без него, то он и воскресенья проводил в городе. Кроме того, его всегда делегировали объясниться с властями, когда происходили какие-либо недоразумения с журналом, и он умел отстаивать его.

Когда же был закрыт журнал, то, понятно, пребывание в редакции стало излишним, ничьих сочинений не надо было просматривать и переделывать, и в области творчества ему стало свободнее. И вот целыми днями, с урывками для питанья и для небольшой прогулки в закрытом экипаже, отец сидел перед письменным столом и не покладая рук писал и писал.

Результатом подобного образа жизни в связи с все прогрессировавшей болезнью явилось нервное потрясение, известное под названием „удара", которое приковало отца к постели. Врачи сомневались, чтобы он выздоровел, но их старания предотвратили на этот раз катастрофу, и папа поправился. Однако ненадолго. Он, правда, прожил после этого несколько лет, но уже совсем больным человеком. Он удалился в свой кабинет, где проводил дни и ночи, не покидал халата и пледа, накинутого на плечи. Ему прислуживала особая горничная Татьяна, которая ухаживала за ним, как за родным.

Несмотря на переживаемое ужасное состояние, папа все же беспрерывно работал. Знакомые, на которых, когда они его посещали, он, как говорится, «волком глядел», мало-по-малу перестали его навещать, предполагая, что они ему мешают, и он, между тем, плакался на то, что все его забыли. В это-то время он и написал свое известное «Имя рек умирает», излив в этом очерке весь ужас постигшего его одиночества. Некоторые из друзей пробовали снова к нему заходить, но он их принимал так сурово, зачастую даже не заводя с ними никакого разговора, что они, не зная как с ним держаться, окончательно прекратили свои визиты. Продолжали бывать лишь верные ему три врача, да самые близкие друзья, которые не смущались его с ними обращением.

К этому периоду относится описанное мною посещение нашего дома о. Иоанном Кронштадтским, которого отец согласился принять, как он потом говорил, чтобы доставить утешение жене. Но я полагаю, что он, боясь преждевременной смерти, ухватился в данном случае, за мысль о приглашении прославленного иерея, подобно тому, как утопающий хватается за соломинку в надежде спасения.

Но и о. Иоанн не помог. Ужасная для нас, а также и для всей русской интеллигенции, развязка приближалась быстрыми шагами.

О ней я до сего времени—а уж с тех пор прошло 33 года—без душевного волнения не могу вспоминать.

IX.

Был сумрачный мартовский день, когда ко мне, бывшему в то время в лицее, в одну из перемен подошел дежурный классный наставник, или, как у нас их называли, воспитатель, Ю. А. Пиотровский, который как-то смущенно заявил, что за мной прислали и что я должен незамедлительно ехать домой.

Первой моей мыслью была та, что отец умер, и я залился слезами, но Пиотровский меня начал успокаивать, сказав, что действительно папа болен, но не так ужасно, чтобы я должен был отчаяваться. Все еще плача, я переоделся, сел в карету и поехал домой, где застал отца, полулежавшего в его кабинете на диване, служившем за последнее время ему кроватью. Отец был в параличе, не мог ни говорить, ни двинуть каким-либо из своих членов. Жили одни глаза... И столько скорби, столько отчаяния выражали они, что я не мог выдержать их взгляда и выбежал из кабинета, не имея возможности сдерживать свои рыдания. Целые сутки пробыл он в таком состоянии. Врачи старались помочь ему, но тщетно. Принимать пищи он уж не мог. Прибежавших к нему по первому зову моей матери близких друзей, он, видимо, узнавал, видимо силился что-то сказать, но увы, все его старания в этом направлении оставались тщетными, и вместо слов из груди его вырывалось зловещее хрипение. Так и скончался он, не имея возможности что-то, быть может весьма для него и для окружающих важное, сказать.

До того отец был готов к смерти, что им были сделаны на случай ее все распоряжения. Кроме духовного завещания, в особом конверте нашли готовую форму объявления для помещения в газетах о его кончине, просьбу похоронить его неподалеку от И. С. Тургенева. Затем были найдены письма: на мое имя, уже известное лицам, читавшим его биографию, и на имя В. И. Лихачева, в коем он просил его позаботиться о моей будущей службе, каковая просьба оказалась гласом вопиющего в пустыне.

И стало на Руси одним великим человеком меньше.

Отцу было всего 62 года от роду в то время. Понятно, что эта потеря была для нас, его близких, ничем не вознаградима. Мы теряли любимого отца и мужа, прилагавшего все свои усилия к тому, чтобы нам жилось как можно лучше в уютном гнезде, им свитом, давшего нам возможность при хороших условиях начать наше воспитание, своим примером подготовившего нас, детей, быть полезными гражданами своего отечества. К сожалению я унаследовал от него не его могучий талант, а только одни его болезни, при чем к ним присоединилась еще одна— почти полная потеря зрения, которой у него не было и ныне, имея от роду всего 50 лет, я почти полный инвалид, что не дает мне возможности предаваться теперь моей любимой работе журналистике.

Россия же теряла в нем великого мастера слова, обожавшего ее сына и поборника за справедливость, за свободу.

Обидно, до боли обидно, видеть, что такой изумительный талант, такой идеальной честности человек был скошен неумолимой смертью в такие, сравнительно, еще нестарые годы, в тот момент, когда читающая Россия ждала от него, по праву, еще многих прекрасных, полных глубокого смысла произведений...

Что это за «забытые слова», которые он перед смертью задумал напомнить своим соотечественникам?

Отец, вообще, не любил распространяться о том, что он намерен писать. И когда его спрашивали о том, что будет служить темой следующего его произведения, он, обыкновенно, вместо точного ответа на вопрос, отделывался общими фразами. Однако, позволительно предполагать, что он в своем начатом произведении желал напомнить некоторым чересчур обнаглевшим современникам о чести, о былой славе России, о терпимости и о многом другом, о чем большинство из россиян забыли. Таков, по крайней мере, ответ, который он дал матери моей, когда она предложила ему вопрос, касавшийся содержания будущего его произведения. Передаю это с ее слов.

Как только в Петербурге узнали из газет о смерти Щедрина, -народ валом повалил на Литейный пр., где мы тогда жили. Во время панихид, которые служил причт Симеоновской церкви, не только вся наша квартира, но и лестница, и даже часть улицы были запружены людьми всякого звания и состояния. Между дневными панихидами безостановочно

по лестнице поднимались и спускались люди, пришедшие проститься с тем, которого заочно любили и уважали за те прекрасные мысли, которыми он делился с современниками. Многие по часам стояли у его гроба и глядели на мертвого, не сводя с него глаз, как бы желая надолго, если не на всю жизнь запечатлеть в памяти его образ. Надо сказать, что после того, как его набальзамировали, отец очень изменился и выглядел куда моложавее своих лет. Лежал он величаво спокойно и, глядя на него, нельзя было подумать, какие страшные терзания ему пришлось волею судьбы перенести. Катафалк, на котором он лежал, утопал в венках. Их собралось более 140, из чем около двадцати были серебряные. Большое впечатление произвел анонимный венок из терний, который полиция не разрешила вынести из квартиры, как она же не разрешила почему-то вынести венок от «благодарных евреев». Отчего подверглись остракизму эти два венка я до сего времени понять не могу. Возможно, что в отношении первого полиция усмотрела богохульство, т. к. терновым венцом был увенчан И. Христос, а потому простого смертного, по ее мнению, им венчать не надлежало. Таково было мнение некоторых из наших знакомых. Повторяю, что это— возможное объяснение действий полицейского пристава, игравшего в данном случае роль цензора, но надо отдать им ту справедливость, что они не были остроумными. Распоряжение относи-

тельню второго же венка можно лишь объяснить юдофобством того же полицейского чиновника.

Похороны отца привлекли, несмотря на скверневшую погоду, такую массу народа, что не только часть Литейного пр., где мы жили, но часть Невского и Владимирского проспектов была запружена густой толпой, не остановившейся ни перед чем, чтобы отдать последний долг своему великому учителю.

Гроб отца не позволили нести на кладбище на руках, и его пришлось поставить на катафалк, кучер которого, к общему недоумению, погнал лошадей чуть ли не рысью. По чьему распоряжению он так поступил—не знаю.

Возмущенные этим молодые люди быстро забежали вперед погребальной колесницы и, сомкнувшись в ряды за духовенством и певчими, с пением «вечной памяти» заставили возницу ехать шагом. Другие молодые люди, между ними и сын фабриканта С., с которым мой отец, как я выше писал, обошелся довольно таки нелюбезно, образовали вокруг нас цепь, чтобы спасти от напиравшей толпы; тротуары и все окна домов на пути нашего следования были также черны от народа. А на самом Волковом кладбище нас ждала еще бо̀льшая толпа.

На могиле были произнесены речи, но мое горе было до того велико, что я не понял даже их смысла.

Я, ведь, все никак не мог понять, зачем навсегда ушел от меня «мой папа»...... И до того пристально глядел на опущенный в склеп гроб родителя своего,

не отдавая себе отчета о том, что происходило вокруг меня, что чуть было сам не упал в вырытую яму.

X.

После отца остались реликвии: его письменный стол, халат, в который он одевался в последние дни, туфли, плед, перо, которым он писал, письменный прибор, кресло. Все эти вещи были затем взяты моей сестрой, уехавшей, когда я уже жил в провинции, за границу. Куда она уехала, и что сталось с этими вещами, а также с большим папиным портретом, писанным художником Крамским, мне принадлежащим и оставленным ей мною на сохранение, вследствие того, что моя провинциальная квартирка не могла их вместить,—не знаю.

Я увез с собой только его бюст, работы скульптора Бернштейна, копия с которого, вылитая из бронзы, находится на могиле, каковой бюст, боясь за его судьбу, я подарил пензенскому училищу рисования. Все рукописи, письма и др. материалы, найденные после смерти отца, были, с согласия моей матери, переданы душеприказчиком М. М. Стасюлевичем в академию наук, где они должны находиться и поныне. Там же должна находиться и маска, снятая с его лица проф. Лаверецким.

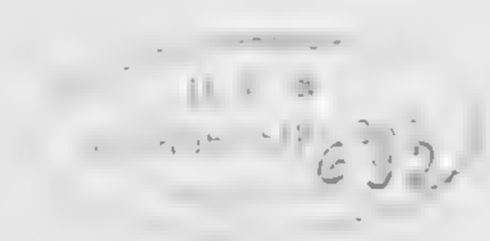
Многое о его служебной деятельности можно было бы почерпнуть из архивов тех провинциальных учреждений, в которых он служил. Но, в настоящее время, документы эти, вероятно, более чем затруд-

нительно найти, так как все провинциальные архивы разорены.

В свое время я предполагал поездить по России и порыться в этих самых архивах для собрания материала, относящегося к служебной деятельности отца, но неимение достаточных средств материальных, заставляющее меня сиднем сидеть на службе, дозволяя себе лишь недолгие отлучки на предмет лечения жены, не позволили мне заняться этим делом.

Быть может, однако, еще имеется возможность добыть кое-какие архивные сведения о служебной деятельности моего отца, и во всяком случае, по моему мнению, было бы интересно произвести розыск этих данных, которые могли бы быть собраны и изданы к столетию со дня его рождения.

1922 года
г. Пенза.



ИСТОРИЯ И КРИТИКА ЛИТЕРАТУРЫ.

Пиксанов Н. К.—Два века русской литературы. Темы, вопросники, библиография. 1923 г. Стр. 208.

Его-же.—Старорусская повесть. Темы, вопросники, библиография. 1923 г. Стр. 92.

Его-же.—Грибоедов и Мольер. 1922 г. Стр. 80.

Розанов [illegible] Н.—Очерк истории английской литературы 19 века. Ч. I. Эпоха Байрона. 1922 г. Стр. 247.

Сакулин П. Н.—Русская литература и социализм. Ч. I. 1922 г. Стр. 504.

Сборник Пушкинского Дома на 1923 г. Стр. 351.

Фриче В.—[illegible] мировой литературы и Советская власть. 1922 г. Стр. 27.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — МОСКВА — 1923